

ное число людей принимается за постоянную величину, без учёта технологического уровня. Так, в конце правления Западной Хань (2 г. н. э.) перепись населения Китая показала его численность в 59,6 млн. человек. Приведя эти данные, Л. Н. Гумилёв (1974: 232) резюмирует: «Это можно считать оптимальным наполнением вмещающего ландшафта, без необходимости изнурения природных ресурсов». В наши дни, однако, население Китая превышает указанную цифру *в 25 раз*, и ничего — экологического кризиса нет! Как же это возможно? Ответ ясен: за две тысячи лет технология сельского хозяйства настолько шагнула вперёд, что позволяет прокормить и такое население «без необходимости изнурения природных ресурсов». Но тогда не слишком ли прямолинеен вывод о ёмкости «вмещающего ландшафта»?

Гораздо разумнее в этом отношении вывод А. П. Назаретяна (2004): дикой природы в экологическом смысле на Земле теперь уже вовсе нет, её островки встроены в новую мировую систему — антропосферу. Поэтому выход — не в руссоистском «возврате к природе», не в ламентациях в духе Г. д'Аннунцио о том, что ради постройки фабрик вырублены кипарисы на вилле д'Эсте, а в дальнейшем развитии технологий — в том числе и природоохранных. Потому что без этого уже не может уцелеть не только человек, но и природа.

IV.8.8. «Системные закономерности» у Шпенглера

Для Шпенглера культура — не механизм, а организм, что уже плохо совместимо (по крайней мере, в его глазах) с системным анализом. Шпенглер — тонкий знаток и ценитель искусства и литературы, и «музыку разъять, как труп», — не его стиль. Даже в математике (глава 1) его интересуют не числа, а «смысл чисел». Намешки над системным подходом появляются у О. Шпенглера прежде, чем Л. фон Бергаланфи ввёл сам этот термин: «Абстрактный учёный, естествоиспытатель, мыслитель системного толка, вся духовная экзистенция которого зиждется на принципе каузальности, есть позднее проявление бессознательной *ненависти* к силам судьбы, непонятного» (Шпенглер 1993: 276).

Казалось бы, для такого автора системные закономерности не должны иметь особого значения и даже вообще привлекать его внимание. Тем не менее, некоторые идеи О. Шпенглера позволили М. Е. Ткачуку («От ответа Освальда Шпенглера к вопросам Ильи Пригожина»: 1996: 81—89) считать его одним из предтеч синергетики. По его мнению, признание относительности времени легко может переходить во взгляд на него как на условность. Это мы и находим у Шпенглера, для которого «время» — всего лишь антоним к понятию «пространства» (в сущности, эту мысль впервые высказал не Шпенглер, а ещё Кант). Шпенглер резко противопоставляет природу, подчиненную *каузальности* (иными словами, причинно-следственным связям и их законам, доступным для рационального понимания и использования), — и историю, подвластную только *судьбе* (интенции культуры). Отсюда утверждения типа: «история отягчена судьбой, но лишена законов»; «судьба и каузальность относятся друг к другу, как время и пространство» (Шпенглер 1993: 274). А отсюда, на основании ньютоновско-позитивистских представлений о научности, следует вывод: «Нет никакой науки истории, но есть преднаука для неё, устанавливающая наличие бывшего [...] Для исторического взгляда данные всегда суть символы» (: 315).

Этот взгляд не нов, как и все под луной. Лукиан Самосатский, оценивая книгу некоего полкового врача Каллиморфа с сухим перечнем событий римско-парфянской войны, в похвалу ему отмечает: «... он сделал подготовительную работу для какого-нибудь другого образованного человека, который сумеет взяться за написание настоящей истории» (Лукиан, *Как следует писать историю*, 16 — Лукиан 1987: 491). Иными словами, история, содержащая «только факты», — для Лукиана не «настоящая». С другой стороны, он признает за историком право самому сочинять речи за описываемых им деятелей, требуя лишь, «чтобы эта речь соответствовала данному лицу и близко касалась дела» (Там же, 58 — Лукиан 1987: 505), — в античности такое считалось естественным

Такое понимание характерно для эпохи господства позитивизма, когда законы физики считались эталоном научности вообще (причем сэру Карлу Попперу удалось показать в *«Нищете историцизма»*, что требование подчинить историю таким же строгим законам, как естественнонаучные, основано, помимо всего прочего, на непонимании сути методов естественных наук). Однако в основе классической физики лежат еще ньютоновские представления, главные из которых — это: 1) *обратимость* всех физических процессов и 2) всеохватывающий *детерминизм* (причинность). Оба этих принципа не только несовместимы с гуманитарным знанием (абсолютный детерминизм, сверх того, еще и морально неприемлем, так как не оставляет места свободе и ответственности за нее), но более того — в 60—70-е гг. они перестали удовлетворять даже физические науки. В результате гуманитарии смогли вернуть физикам свой «долг», восстановив в естественных науках понятия «необратимости», «направленности», «судьбы», «свободы воли» и, в конце концов, — «времени» (ср.: Ткачук 1996: 88—89). Появилась новая дисциплина — синергетика, изучающая процессы самоорганизации в живой и неживой природе. В наши дни эта дисциплина претендует на роль новой философии научного знания. Такие вечные проблемы философии, как порядок и хаос, становление и бытие (знаменитая антитеза *das Werden und das Sein*), детерминизм и вероятность, стабильность и нестабильность, несвобода и пределы свободы, — получают в рамках синергетики возможность нового диалога с новыми решениями.

Часто и упорно говорит О. Шпенглер о необратимости развития культуры, о её «судьбе» (в противоположность законам) — то, что Владимир Лефевр позже назовет «стрелой времени»⁸⁴ (Лефевр 2000 {1967}: 117): «Подобно тому как всякое становление несёт в себе изначальный признак *направления* (необратимости), так и всё ставшее отмечено признаком *протяжённости*, и притом так, что возможным оказывается лишь искусственное разделение значения этих слов» (Шпенглер 1993: 206). Есть у него и ритмы, но отнюдь не математические, а музыкальные: «Но к габитусу группы организмов относятся также определённая *продолжительность жизни* и определённый *темп* развития. Эти понятия не должны отсутствовать и в учении о структуре истории. *Такт* античного существования был иным, чем такт египетского или арабского. Позволительно говорить об *Andante* эллинско-римского и об *Allegro con brio* фаустовского духа» (: 268).

Именно эти соображения позволяют Шпенглеру, не ссылаясь на «цель истории», обосновать свой знаменитый фатализм: «Кто не понимает, что ничто уже не из-

⁸⁴ Ещё до В. Лефевра выражение «стрела времени» встречается у П. Тейяра де Шардена в его «Феномене человека».

менит этой развязки, что нужно желать *этого* либо вообще ничего не желать, что нужно любить эту судьбу либо отчаяться в будущем и в самой жизни <...>, — тот должен отказаться от того, чтобы понимать историю, переживать историю, делать историю» (: 172—173); «Если мы пользуемся рискованным словом “свобода”, мы вольны уже осуществлять не то или иное, но только *необходимое или ничто*. Ощущать это как “благо” — вот что отличает человека фактов» (: 174). Этот «героический пессимизм» куда безнадежнее, чем «свобода как осознанная необходимость» (понятие, трактовавшееся в советском марксизме слишком прямолинейно). За эти и подобные им тирады Томас Манн (1960 а {1924}: 613) назвал О. Шпенглера «пораженцем рода человеческого».

Между тем познание законов истории вовсе не обезоруживает нас перед лицом судьбы, как бы её ни понимать. Человек не был свободен летать, пока не познал природную необходимость: законы механики, аэродинамики и др., на которых основано действие летательных аппаратов. Мы познаём законы не для того, чтобы слепо подчиниться им, а чтобы их использовать в своих целях. К этому и сводится суть марксистского принципа «свобода есть *осознанная* необходимость».

Правда, исторические пророчества Шпенглера основаны на числах (как-никак, по образованию он всё же математик). Он даже публично сожалел, что его подсчёты столь точны: они-де не оставляют места надежде. Но что это за подсчёты? Шпенглер словно бы задался целью доказать принцип Ф. Ницше:

«Мы хотим внести тонкость и строгость математики во все науки, поскольку это вообще возможно; мы желаем этого не потому, что рассчитываем таким путём познавать вещи, но для того, чтобы установить этим наше человеческое отношение к вещам. Математика есть лишь средство общего и высшего человековедения» (Ф. Ницше. Весёлая наука, 124б).

Вот, допустим, его «Таблица “одновременных” политических эпох» (Шпенглер 1993: 197—200). Несколько упростим её для удобства понимания:

Период	Сущность периода	Продолжительность (в годах)				Среднее значение
		Египетская культура	Античная культура	Китайская культура	Западная культура	
Глубокая древность		230	500	400	400	382,5
Культура	Ранняя эпоха	400	450	500	600	487,5
	Поздняя эпоха	510	350	300	300	365
	(заключительная фаза?)	115	0	20	80	53,75

Период	Сущность периода	Продолжительность (в годах)				Среднее значение	
		Египетская культура	Античная культура	Китайская культура	Западная культура		
Цивилизация	Цивилиз. 1	«Господство денег («демократии»)»	125	200	230	120	168,75
	Цивилиз. 2	«Восхождение цезаризма. Победа политики силы над деньгами»	222	200	276	200	224,5
	Цивилиз. 3	«Созревание окончательной формы», «внеисторическое окончание»	133	100	194		106,75

Что же здесь, собственно, даёт основания для пророчеств? Ведь даже если согласиться с концепцией автора, то и тогда продолжительность периодов для разных культур не совпадает, а это исключает возможность точных прогнозов в духе Шпенглера.

Почему автор так уверен, что конец «демократии» настанет именно в 2000 году, а не в 2100? Почему эпоха Сражающихся Царств — это, по его мнению, «господство денег» (: 199)?

Почему даты с точностью до первого знака перед запятой даны только для египетской культуры? Ведь её датировка — самая ненадёжная из всех названных: пределом точности для эпохи Рамсесов считается ± 20 лет, для начала II тыс. до н. э. — ± 50 лет. Допустим, автор хотел быть предельно точным. Но в таком случае почему же эпохи европейской истории округлены у него до столетий (за одним исключением — 1880 г.)?

Почему, наконец, для античной культуры её заключительная фаза включена в счёт лет «поздней эпохи», а для остальных — наращена на них (ср. даты: Шпенглер 1993: 198 и 199)?

И это называется «математической точностью»?

IV.8.9. «Поля» и «векторы» Тойнби

У А. Дж. Тойнби нет математических выкладок, но есть поиск пространственных «полей» и «векторов» развития цивилизаций, причём те и другие весьма слабо обоснованы. Так, он выстраивает пространственные оси западного мира (Тойнби 1991: 35—36) и православного христианского — то есть византийского (: 42—44). Географической осью Запада Тойнби считает земли Лотаря I (внука Карла Великого), тянувшиеся от Рима до Нидерландов. Эту ось пересекала вторая, поперечная — почему-то в Меце (Тойнби 1991: 35). Но ведь и в средние века «все дороги вели в Рим», а не в Мец — *какое-то время* столицу одной лишь Австразии, одной из частей Франкского королевства при «ленивых королях»! Однако из этих и подобных построений английский историк делает далеко идущие выводы о воле исторического провидения. Например:

«Почему Рим протянул свою властную руку на северо-запад? Потому что его теснила туда смертельная схватка с Карфагеном. Почему, перевалив за Альпы, он не закрепился